



Я ЧИТАЮ ВОЗНЕСЕНСКОГО

(газета «Час пик», май 1993 года)

Нам все еще не до поэзии. Это не в укор сказано. В самом деле, просто ни на что не хватает времени. Мы действительно заняты более насущными делами. Я и сам уже лет шесть почти не читаю Вознесенского.

А прежде я читал его примерно раз в месяц. Читал перед разными аудиториями — в школах, в общежитиях, в книжных магазинах, в литературных объединениях, в клубах и красных уголках, в библиотеках.

Как описать то состояние, которое испытываешь после двух-трех часов чтения, когда видишь глаза слушателей — отрешенные, восторженные, тревожные. В них уже проникло это чародейство, они уже никогда ни с кем не спутают Вознесенского, они будут искать сбор-

ники и публикации, переписывать стихи, читать их друзьям.

Сколько раз после окончания вечера подходили люди и полупшепотом спрашивали: «Неужели все это напечатано?» Они чувствовали, что все ими сегодня услышанное является крамолой, чем-то недозволенным, что такие стихи подтачивают основы.

Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да еще кривляться на похоронах.

(«Авось!»)

Или:

За что ты бьешь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.
А ты за что, царек отечный?
За веру, что ли, за отечество?

За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать!

(«Сон Тараса»)

Произнося последнюю фразу, я, войдя в роль, разыскивал глазами на стене обязательный для учреждений культуры официальный портрет и адресовал реплику насчет отечности и отчества непосредственно ему. После этого уже и самому недогадливому слушателю становилось ясно, что в стихотворении идет речь не только и не столько о XIX веке и Тарасе Шевченко, сколько о наших царьках, о нашем времени, обо мне самом и, стало быть, о человеке, который был тысячу лет назад и будет через тысячу лет.

Я бы даже не назвал это эзоповым языком. Все это делалось напоказ, Вознесенский явно дразнил своих цензоров. Все эти Монологи — битника, актера, Резанова, Мэрилин Монро, наконец, сингапурского шута — все это так прозрачно, в особенности в контексте всего творчества, пропитанного непринятием тоталитарной

системы, что и мне часто хотелось спросить: «Как же это напечатали?»

Герцен так сказал об этом: «Надо сказать, что цензура чрезвычайно способствует развитию слога и искусства сдерживать свою речь. Человек, раздраженный оскорблявшим его препятствием, хочет победить его и почти всегда преуспевает в этом. Иносказательная речь хранит следы волнения, борьбы; в ней больше страсти, чем в простом изложении. Недомолвка сильнее под своим покровом, всегда прозрачным для того, кто хочет понимать. Сжатая мысль богаче смыслом, она острее; говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова для нее находил сам читатель, — лучший способ убеждать. Скрытая мысль увеличивает силу речи, обнаженная — сдерживает воображение. Читатель, знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь; один скрывает то, что он пишет, а другой — то, что понимает. Цензура — та же паутина: мелких мух она ловит, а большие ее прорывают. Намеки на личности, нападки умирают под красными чернилами; но

живые мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большое, немного себя почистить».

В итоге, когда в новые времена литераторы извлекли «из стола» ненапечатанное, выяснилось, что Вознесенский напечатал, наверное, практически все, что хотел. Другой вопрос, как ему это давалось. Это еще предстоит изучить. Но стыдиться ему нечего. Разве что поставят в укор «Лонжюмо»...

В 1970 году, когда отмечался ленинский юбилей, мы у себя в институте вывесили стенгазету длиной метров в пять, целиком состоящую из кусков ленинских работ. Неделю у газеты стояла толпа. Парткомовские волки класцали зубами, но ничего не могли сделать. С одной стороны — явная крамола («коммунисты, которых надо вешать на поганных веревках», «партия у власти защищает своих мерзавцев», «товарищ Троцкий защитит мою позицию не хуже меня», и т. д.), с другой стороны — это же Ленин!

Кроме ленинских текстов в этой газете были стихи Пастернака и Вознесенского. Обращение

к Ленину в 60-е годы было мощным оружием в борьбе против сталинизма, против тупости, против партийной олигархии. Здесь и не пахло ренегатством. Это был совершенно необходимый этап в развитии общественного сознания. Это был шаг к свободе.

Все прогрессы реакционны,
если рушится человек!

<...>

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам
от цинги?

(«Оза»)

Десятки тысяч слушателей Лужников и Октябрьского зала, сотни тысяч читателей сборников Вознесенского искали и находили дух свободомыслия, традиционную для русской поэзии «тайную свободу».

На него писали тайные и публичные доносы, его выгонял из страны взбешенный Первый, каждая его публикация подавалась как одолже-

ние интеллигенции, его сборники «не замечались», не рецензировались, его оскорбительным образом вскользь упоминали наряду с заурядностями, его имени не было среди двух десятков современных поэтов, рекомендуемых школьникам в учебниках литературы.

Да, он не повторил горькой участи Бродского, его печатали и выпускали за границу, и он возвращался. Но ставить в укор Поэту, что он жил одной жизнью со своим народом, — бессовестно. Судьба Художника всегда неповторима.

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни черной, ни золотой.
Звезду не убить каменюгами,
Ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.
Важны не хула или слава,
а есть в нем музыка иль нет.

Опальны земные державы,
Когда отвернется поэт.

(«Звезда над Михайловским»)

Опубликовать такие стихи как раз в тот момент, когда решается вопрос о присуждении Государственной премии, — это для Вознесенского характерно.

Крамола не в политическом намеке, не в обличении личности или правительства. Цензура бессильна перед самой поэтикой. Можно, конечно, заставить поэта заменить в строке слово, при этом пропадет прямой выпад, но исчезнет ли крамола? Обратимся к примеру.

Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция,
Интеллигенция обуржуазилась,
родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любят».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородастая детвора.

<...>

Из инженеров выходят в дворники.

Кому-то надо страну мести.

(«Люмпен-интеллигенция»)

В первых изданиях этого стихотворения вместо «страну мести» было «землю мести». Подлинный текст восстановлен Вознесенским только в новые времена. Удар цензора был, как видим, точен: вместо глубинного исследования путей интеллигенции стихотворение вроде бы сводилось к бытовой зарисовке. Но почему-то ничего не получилось. Весь строй стихотворения, начиная с запева «Опять надстройка рождает базис», побуждает к философскому осмыслению бытового факта. В наметившейся тенденции ухода интеллигенции из престижных профессий Вознесенский увидел стремление к независимости от государства, бунт, зачатки будущей оппозиции.

Все мы все поняли, тем более, что в своих публичных выступлениях Вознесенский произносил именно «страну мести».

Многое из сказанного Вознесенским лет двадцать назад настолько обогнало время, что и сегодня воспринимается как крамола.

Родины разны, но небо едино,
Небом единым жив человек.

(«Васильки Шагала»)

Покушение на патриотизм. То, что эти стихи вызвали ярость «патриотов мнимых», — это понятно. Но и нормальному человеку трудно пережить в себе эту драму идей. Где, увы, История и Жизнь противопоставляют друг другу национальное и общечеловеческое. «Нет эллина, нет иудея». Тот, кто впервые это произнес, был распят патриотически настроенными соплеменниками. Но и спустя две тысячи лет такое даром не проходит: политика приговорят к высылке, проповедника — к забвению.

Всегда актуальный, Вознесенский всегда оказывается хоть на полшага, но впереди общественного сознания. Когда-то замечательный критик-шестидесятник В. Турбин заметил, что истинным учителем Вознесенского является

Рабле. На первый взгляд это выглядело натяжкой. Лишь теперь понимаешь, что тогда Вознесенский вместе со всей страной, и, как всегда, немного впереди, переживал период Ренессанса, освобождаясь от коллективистского аскетизма, от того, что теперь называют «совковостью».

Потом пришло трагическое мироощущение, рожденное глубоким осознанием исторического пути России. И исподволь пробивалась вера — от пантеизма до православия. Эту тему — Вознесенский и христианство — предстоит разрабатывать критикам следующего века, сегодня на нее силенок не хватит.

Избегаю понятия «литература»,
но за дар твоей речи
отдал голову с плеч.
Я кому-то придурок,
но почувствовал шкурой,
как двадцатый мой век
на глазах
превращается
в Речь.
Его темное слово,

пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

(«Речь»)

Для тоталитарного режима страшно само по себе пробуждение мышления. А оно начинается с непохожести, с лексикона, в котором соседствуют сленг и трепетность молитвы, с рискованных словесных оборотов, с приглашения на этот пир чувства и разума всех предшественников, с музыки, которая еще не звучала. Конечно же — дело в музыке.

Но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами.

Как исправный посетитель филармонии по любой, даже прежде не слышанной музыкальной фразе узнает Моцарта, Дебюсси, Проко-

фьева, так и мы узнаем Поэта по лексикону, по аллитерациям, по рифмам, по многому другому, что в совокупности называем музыкой. Совокупность — не вполне подходящее слово, здесь речь идет о «биологии стиха».

Удивительна запоминаемость стихов Вознесенского. Они — как прививка, которую делают в раннем возрасте, — создают иммунитет против примитивизма, пошлости, низости.

Я обязан Вознесенскому всем. Его стихи и поэмы, привитые к моей памяти, ставшие моей плотью, помогли мне выжить, «вынести огонь сквозь потраву».

Ревную за Вознесенского. Несмотря на популярность, по-настоящему самый полифоничный, самый универсальный поэт современности всё же пока не востребован Россией.

Впрочем, самый полифоничный и самый универсальный поэт XIX века тоже был долго не востребован. Слава Пушкина возродилась в России и воцарилась в ней окончательно лишь в 1880 году, то есть почти через пятьдесят лет после его смерти, когда открыли памятник в Москве, когда на торжественном собрании

о Пушкине говорили непримиримые между собой Достоевский и Тургенев.

Не потерять бы нам священного трепета и глубинного восприятия, когда мы имеем дело со своей литературой — той, может быть, единственной ценностью, которую Россия предъявит на Страшном Суде. Культура нации — в языке, так почему нам все еще не до поэзии?

Георгий Трубников

**ИЗ КНИГИ
«МОЗАИКА»**

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами.
Две контролерши заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,
спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
как девочка примерзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта, — с челкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,
и, вся от слез света,
мне шепчешь нецензурно —
чистейшие слова?..

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты, чище Беатриче,
сбегаешь на перрон!

1959

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
Он

дал

кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел

тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские куши?»

А он уносился ракетой ревушей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой

гневно

пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!

И черт меня нес

Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я всё лечу,

приземляясь по ним —

Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,
любовь
и история —
По параболической траектории!
В сибирской весне утопают калоши.
А может быть, всё же прямая — короче?

1959

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.

Слетаю метеором под хохот и галдеж...
Умора!
Ой, умрешь.

1953

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.

Ходит он — синеокий,
гусельки на весу,
очи его — как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество — это старт.

1957

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — ГОЛОС

войны, городов головы на снегу
сорок первого года.

Я — ГОЛОД.

Я — горло

повешенной бабы, чье тело, как колокол,
 било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди

возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил
крепкие звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

1957

* * *

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!

И оттаивая ладошки,
поэтессы бегут в лотошницы.

Ну а ты?..
Уж который месяц —
В звезды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.

И опять, и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлениш,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся стоишь!

Кто ты? Кто?! — Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна — но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой в толщах снега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

1958

* * *

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.

Искусство мертво без искры,
не столько Божьей, как людской,
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.
Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,
они — небритые, как солнце,
и точно сосны — шелушась.